



Александр Пронин

Точка отказа

Александр Пронин

Точка отказа

«Автор»

2026

Пронин А.

Точка отказа / А. Пронин — «Автор», 2026

Здесь эмоции выдают по строгой квоте, а за лишние слезы грозит изгнание. Здесь под диваном из собственной осыпающейся кожи собирается твой идеальный двойник. Здесь живые биомеханические болиды плачут биоэлектрическими импульсами, когда их пилоты уходят на пенсию, а в старых механических часах живет память о войнах, которых не помнят люди. От киберпанка и мрачных антиутопий до мистического хоррора и трогательного магического реализма. Этот сборник — зеркало, в котором отражаются наши страхи перед технологическим одиночеством и наши надежды на спасение.

© Пронин А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
КВОТА НА СОЧУВСТВИЕ	6
ПЫЛЬ	11
ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ	13
ПРОЕКТ «СОН»	16
ДОКТОР ВЕРНЕР	18
СВОБОДНЫЙ УЗЕЛ	20
ВЕЧНЫЙ СТРАННИК	22
КОМПОЗИТОР	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Точка отказа

Глава

КВОТА НА СОЧУВСТВИЕ1
ОКНО НА ПРОТИВ7
ПЫЛЬ13
ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ17
ПРОЕКТ «СОН»24
ДОКТОР ВЕРНЕР29
СВОБОНЫЙ УЗЕЛ33
ВЕЧНЫЙ СТРАННИК37
КОМПОЗИТОР42
ПОТЕРТЫЙ КОРПУС47
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ50
АРХИВАРИУС55
ПРОТОКОЛ 661
СИНАПС67
КРИКИ ИЗ БЕЗДНЫ74

КВОТА НА СОЧУВСТВИЕ

Я узнал, что Мухтар умер, когда чип ещё не проснулся.

Пока индикатор в виске тёмный, ты можешь чувствовать что угодно. Но стоит чипу зафиксировать активность — он начинает считать. Каждую секунду горя. Каждый всплеск адреналина.

Мухтару было четырнадцать. Умер ночью, от старости. Я нашёл его утром, лёгким, как щенок. Прижал к груди и заплакал. Честно, бездумно. Потом чип щёлкнул — зелёный индикатор в виске вспыхнул, и я почувствовал, как что-то внутри начинает считать.

На неделе уволили Кирилла. Он сидел за соседним столом три года. Мы не были друзьями в старом смысле — не ходили в гости, не звонили по вечерам. Но он знал, что я пью кофе без сахара, и приносил печенье, когда забывал обед. Я знал, что у него аллергия на латекс, и напоминал, когда начальство раздавало перчатки.

Это и есть дружба теперь. Мелочи, которые не тратят квоту.

Его уволили за «избыточную эмоциональную реактивность». Он спорил с начальником по срокам. Голос повысился. Чип зафиксировал всплеск гнева — всего семь процентов, но начальник потребовал проверки. Аудит: за месяц Кирилл потратил сорок два процента квоты на «негативные эмоции». Превышение. «Социально опасный элемент».

Я узнал в обед. Кирилл стоял у лифта с картонной коробкой. Фоторамка. Кактус. Пачка чая, которую я одолжил. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него.

Я хотел сказать что-то. «Прости». «Удачи». Но чип уже считал. Он чувствовал, как мои лёгкие сжимаются, как горло комок. И блокировал. Лицо каменело — мышцы замерли, словно ввели лидокаин. Глаза сухие. Голос ровный.

«До свидания, Кирилл».

Он кивнул. Не удивился. Все знают, как это работает. Он повернулся и ушёл. Я стоял у лифта, чувствуя, как внутри что-то кричит, а снаружи — пустота. Чип показывал: остаток квоты на горе — ноль целых ноль ноль ноль один процента. Я потратил всё на Мухтара.

Вечером я искал в тёмном интернете. Там, где пароли меняются каждый час, сообщения самоуничтожаются через три секунды. «Чёрный рынок эмпатии» — все знают, что он существует. Но доступ — как к наркотикам. Нелегально. Опасно. Наказуемо.

Я нашёл. «Доноры эмоций. Лицензированные переносы». Цены. Горе — дороже радости. Радость — дешевле, потому что её мало кто покупает. Горе — в десять раз дороже. Все тратят квоту на мелочи. На увольнения. На смерти. На то, что нельзя отложить.

Я выбрал. Женщина, тридцать два года. «Донор горя. Категория А. Совместимость — 94%». Причина: «Нужны деньги на операцию ребёнку». Заплатил три месяца зарплаты. Криптовалютой. Получил координаты.

Встреча в подвале заброшенного кинотеатра. Пахло плесенью и озоном. Женщина сидела на стуле, подключённая к нейроинтерфейсу. Рядом — техник в грязном халате.

«Лежите».

Он прикрепил электроды к моему виску, к чипу, к виску женщины. «Горе — это не данные, это опыт. Вы будете чувствовать то, что она чувствовала. Не её историю — её боль. Готовы?»

Я кивнул.

Первые три секунды — ничего. Потом — волна. Не моя. Чужая. Тяжёлая, как влажная земля. Я *прожил* комнату в больнице. Белые стены. Трубки. Ребёнок. Не ребёнок — тело. Маленькое, синее. И боль, которая не имеет дна. Которая не кричит, а тонет.

Я закричал. Чип в виске загорелся красным — перегрузка. Он не был рассчитан на чужое горе. На горе, не фильтрованное моей биографией. Это было горе женщины, потерявшей сына. И оно не влезало в мою нервную систему, как кулак не влезает в горлышко бутылки.

Я отключился.

Очнулся на скамейке в парке. Техник бросил меня и ушёл. «Неделя восстановления. Но больше не приходите. Ваша совместимость — фигня».

Я сидел. Утро. Солнце. Люди проходили мимо — на работу, в магазины. Все улыбались. Ровными, «разрешёнными» улыбками. Те, у кого квота на радость ещё не исчерпана. Те, кто сэкономил. Кто умел жить в пределах.

Рядом села женщина. Закрыла глаза. И заплакала. Тихо. Беззвучно. Слёзы текли по щекам, а лицо спокойным — чип не блокировал, она ещё не превысила лимит. Она просто плакала. Свободно. Честно.

Я посмотрел на неё. И почувствовал, как мой чип начинает перегреваться. Пытается обработать чужую боль — ту, что я видел, ту, что чувствовал рядом. Но он не мог.

Женщина встала и ушла. Я остался один.

Я смотрел на проходящих людей. На их ровные улыбки. На мир, который не позволял горевать больше, чем положено. Где сочувствие — товар, где эмпатия — квота, где человечность измеряется процентами в чипе.

Я знал, как отключить чип.

Все знают. Чип отключают навсегда только в двух случаях: смертная казнь или изгнание. «Социальная смерть». Тебя выпускают за «Зону Стабильности» и больше не пускают обратно. Без чипа. Без квоты. Без права на возвращение.

Там — ничего. Леса. Поля. Руины. Люди без чипов, которые горят, смеются, плачут, убивают, любят — всё, что угодно, без счёта. Дикие. Нестабильные. Свободные.

Я встал.

Ноги дрожали. Чип пищал в виске — предупреждение о перегреве. Я прошёл мимо цветочной лавки, мимо кафе, мимо детей с «разрешённым» восторгом. Шёл к ближайшему полицейскому участку. Медленно. Твёрдо.

Я знал, что скажу. «Я хочу отключить чип». Они спросят: «Вы осознаёте последствия?» — «Да». «Готовы к изгнанию?» — «Да».

Потому что лучше быть изгнанником, который может плакать, чем гражданином, который не может.

Лучше гореть в лесу, чем мерзнуть в тепле.

Лучше быть человеком без квоты, чем квотой без человека.

Я увидел полицейского. Стоял у здания, пил кофе, улыбался разрешённой улыбкой. Я сделал шаг к нему. Потом ещё один.

Чип взвыл — последнее предупреждение. И замолчал.

Я подошёл. Полицейский посмотрел на меня. Я открыл рот, чтобы сказать: «Я хочу...»

И заплакал.

Наконец-то. Настоящими слезами. Без счёта. Без квоты. Без чипа.

Он отступил на шаг. Не от страха. От удивления. Он не видел такого давно. Никто не видел.

«Вы...» — начал он.

Я не дал договорить. Я просто стоял и плакал. В центре города. Посреди белого дня. Перед полицейским участком. Без чипа. Без защиты. Без квоты.

Свободный.

Наконец-то свободный.

ОКНО НА ПРОТИВ

Не высоко, не низко — ровно посередине. Достаточно, чтобы слышать голоса с улицы, но не разбирать слов. Достаточно, чтобы видеть крыши, но не чувствовать себя наблюдателем. Окно выходило во двор — асфальт, песочница, три лавки, к которым никто не подходит после девяти. И напротив — такой же дом. Типовой. Панельный. Пятиэтажный. Метров тридцать по прямой, если бросить камень. Я никогда не бросал.

Я заметил его в октябре.

Сидел за столом, пил кофе, смотрел в окно — не на что-то конкретное, просто отдыхал глазами. В окне напротив, на пятом этаже, тоже сидел человек. Силуэт. Спиной ко мне, лицом к своему столу. Я отвёл взгляд. Совпадение. В пятиэтажках все окна похожи, все люди сидят за столами.

На следующий день я встал пораньше. В шесть. Открыл шторы — он уже был там. В том же окне. В той же позе. Рука у лица, локоть на столе. Как я.

Я помахал.

Он не ответил. Но через секунду поднял руку — не мне, к своему лицу, почесал затылок. Точно так, как я делаю, когда думаю.

Я не придал значения.

Неделю спустя я начал проверять.

Встал в семь — он встал в семь. Надел синюю рубашку — на следующий день в его окне мелькнуло синее. Поставил на стол горшок с кактусом — через сутки в его окне появилось что-то круглое, похожее на горшок. Я не различал деталей на таком расстоянии, но форма совпадала.

Я начал играть.

В понедельник в десять утра я встал, подошёл к окну, поднял обе руки. Во вторник в десять он встал, подошёл, поднял руки. Не сразу — с задержкой в несколько секунд, как старая плёнка, которая цепляется за бобину. Я смеялся. Снимал на телефон, показывал друзьям. «Смотрите, у меня двойник напротив». Они кивали, не верили, не понимали, почему это важно.

Важно было то, что я чувствовал власть.

Я знал, что он сделает, потому что я уже сделал. Я мог предсказывать каждое его движение. Он был мой. Мой вчера, который я держал на привязи через тридцать метров двора.

Потом я увидел нож.

Среда. Туман. Я сидел за столом, пил кофе, бросал взгляд напротив — привычка уже, как дышать. Он стоял у окна. Не сидел. Стоял. И смотрел сюда.

Я замер.

Никогда раньше он не поворачивался лицом. Всегда — профиль, спина, силуэт. А теперь он стоял прямо. Я не различал черт лица на таком расстоянии, но чувствовал — он смотрит. Прямо. На меня.

Он отошёл от окна. Пошёл к столу. Открыл ящик.

Я не двигался.

Он достал оттуда что-то длинное. Повернул в руках, и свет от монитора блеснул по лезвию. Нож. Не кухонный — длинный, узкий. Тот, что я купил три года назад на рынке, «для дачи», и забыл в ящике стола.

Он сел и начал точить.

Медленно. Размеренно. Как я точу карандаш, когда нервничаю. Только это был не карандаш.

Я бросился к столу.

Ящик заело. Я дёрнул — выскочил, ударил коленом. Внутри — бумаги, ручки, старые наушники. И нож. Тот самый. С чёрной ручкой и выщербленным лезвием. Я не доставал его годами. Не точил. Не думал о нём.

Я сидел на полу с ножом в руке и смотрел в окно.

Он уже не точил. Он стоял у стекла. Смотрел сюда. Улыбался — я чувствовал это, не видел. Той улыбкой, которой улыбаешься, когда понимаешь что-то важное. Кривой. Безрадостной.

Я понял.

Не сразу. Сначала отрицал. Считал дни. Если он — мой вчера, то почему вчера я не доставал нож? Почему вчера я не точил его у окна? Почему вчера я не стоял лицом к нему?

Потому что он — не мой вчера.

Он — мой завтра.

Окно показывало не прошлое. Оно показывало будущее. Всё это время я смотрел на то, что со мной случится. И думал, что управляю. Думал, что играю. А я просто следовал сценарию, который уже был написан.

Я бросил нож в ящик. Закрыл. Задёрнул шторы.

Не выходил три дня. Не работал. Не пил кофе в одиннадцать. Надевал разное, делал другое, ложился в половине девятого, вставал в половине двенадцатого. Ломал рутину. Ломал себя.

В четверг я открыл шторы.

Окно напротив было пусто.

Стол на месте. Кружка на месте. Монитор горел — синий, без окон. Но человека не было. Ни за столом. Ни у окна. Ни в углу.

Я смотрел минуту. Десять. Полчаса.

Пусто.

Я облегчённо выдохнул. Значит, сломал. Значит, завтра не случится. Значит, нож останется в ящике, и я останусь здесь, в своей комнате, в своём времени.

Я повернулся.

Шаги за спиной. Медленные. Мягкие. Как мои, когда хожу босиком по линолеуму, чтобы не разбудить соседей снизу.

Я не обернулся сразу. Сначала посмотрел в окно. На пустое окно напротив. На стол. На кружку. На монитор, который горел синим.

И понял.

Если он не в окне — значит, он уже вышел.

Я обернулся.

Дверь в комнату была открыта. Я не открывал. Я её запираю. Три дня назад, когда решил сломать рутину. Повернул ключ дважды, проверил ручку, убедился.

Она была открыта.

Шаги остановились.

Я стоял лицом к двери, спиной к окну. Чувствовал, как воздух за спиной меняется. Как тень падает на пол — не моя, другая. Длиннее. Точнее. Завтрашняя.

«Ты думал, что смотришь на меня», — сказал голос.

Мой голос. Только спокойнее. Усталый. Тот, что бывает, когда всё уже решено.

«А я смотрел на тебя. Месяцами. Ждал, когда ты заметишь».

Я не двигался.

«Теперь ты заметил. Теперь — моя очередь».

Я хотел обернуться. Хотел бежать. Хотел закричать. Но тело не слушалось. Как в сне, когда бежишь, а ноги вязнут в асфальте.

Рука легла мне на плечо. Тёплая. Знакомая. Моя.

«Не бойся», — сказал он. — «Ты уже был мной. Теперь я буду тобой. Это... справедливо».

Я посмотрел в окно. Напротив. В пустую комнату.

И увидел, как моя тень — моя настоящая тень — отходит от стены. Отрывается от ног. Идёт к двери. Входит в пустоту, которую я оставил.

А я остался.

Стою у окна. Смотрю на свою комнату. На стол. На кружку. На монитор, который горит синим. Жду, когда кто-то откроет шторы. Когда кто-то заметит. Когда кто-то начнёт играть.

Я знаю, что он сделает завтра. Я знаю каждое его движение. Каждый вздох. Каждый поворот головы.

Я — его завтра.

И я уже точу нож.

ПЫЛЬ

Андрей впервые заметил это в субботу. Под диваном, где обычно был тёмный прямоугольник, пыль сложилась валиком. Не хаотично — ровным, как след. Он вытащил пылесос, прососал всё до скрипа. Вечером заглянул — валик снова лежал на том же месте. Той же толщины. Той же формы.

Он работал удалённо. Выходил раз в неделю. Никто не заходил. Окна не открывались. Но пыль прибывала.

В понедельник он двинул диван и замер.

Пыль лежала фигурой. Силуэтом. Он узнал себя. Согнувшись на боку, правую руку под подушкой, левую к груди. Так он спал с детства. Пыль повторяла его позу с точностью до сантиметра. Голова склонена, колени подтянуты. Даже проплешина на виске — его волосы — отбрасывала тень.

Андрей схватил тряпку. Смёл фигуру. Мыл пол три раза. Проверял каждый час.

Утром она снова лежала под диваном. Только больше. Точнее. Рука теперь имела пальцы — тонкие, серые, из пуха и чешуек кожи. Андрей смотрел на них и чесал запястье. Кожа шелушилась. Он сбрасывал её, не замечая, а она падала и шла на строительство.

В среду он купил мощный пылесос. Сосал до гари. Вытер пол спиртом. Поставил диван. Не спал.

Ночью он проснулся от шуршания. Тихого, влажного, как будто кто-то терся о стену. Звук шёл из-под дивана. Что-то лепилось, разглаживалось, набирало форму.

Утром он заглянул сбоку. Фигура росла. Теперь тридцать сантиметров — половина настоящего Андрея. И точнее. Шея поворачивалась, как его, когда он засыпал. Пальцы раздвинуты в том же порядке. На груди пыль лежала плотнее — там, где сердце билось медленнее.

Андрей понял, что она учится. Его мёртвые клетки, волосы, пот — всё, что он оставлял на простыне и в воздухе, — собиралось и копировало. Он был слишком неподвижен. Слишком много лежал. Природа строила улучшенную копию из того, что он сам выбросил.

Он боролся. Накрыв диван плёнкой — под ней выросла плесень, повторяющая его профиль. Поставил увлажнитель — пыль впитала влагу и стала тяжелее, плотнее, почти как плоть. Он спал на кухне, но утром находил серый налет на полу в форме согнутого тела. Он не мог убежать от себя.

В пятницу он проснулся на кухонном полу. Не помнил, как уснул. Пошёл к дивану — дрожа. Двинул его.

Фигура была ростом с него. Полноразмерная. Лежала в его позе, на его месте, под его диваном. Серая, ватная, но чёткая. Лицо — глазницы, нос, впалая щека. На груди пыль дрожала. Не от сквозняка. От дыхания. Она дышала. Его же пылью, его же мёртвыми клетками — но дышала.

Андрей вскрикнул. Из горта вышел комок — серый, шерстистый, из волос и чешуек. Он упал на колени, выхаркивая себя на паркет. То, что он выплёвывал, ползло к фигуре. Присоединялось. Дополняло.

Он бежал в ванную. Смотрел в зеркало. Под глазами — серые тени. Не мешки. Пыль. Она собиралась внутри, вытесняя. Он чесал кожу, и под ногтями оставалась серая масса. Он был уже наполовину пуст.

Ночью он не ложился. Сидел на кухне, трясясь. Но в три часа глаза закрылись сами.

Он проснулся. Не на кухне. На полу, под диваном. Где всегда лежала пыль. Тело не слушалось. Он лежал на боку, согнувшись, руку под головой — в своей позе. Но не мог пошевели-

литься. Кожа стала пористой, и сквозь неё проходил воздух, унося частицы. Он чувствовал, как утекает. Как становится легче. Не от свободы — от отсутствия.

Над ним склонилась фигура. Ростом с него. С его лицом, но движущаяся быстро, уверенно, без тяжести в суставах. Она одела его куртку. Взяла ключи. Накинула маску. Андрей попытался крикнуть. Из горта вышел только пух. Серый, сухой, с запахом старого дивана.

Фигура повернулась. Не улыбнулась — у неё не было губ. Но он понял: она довольна. Уходит в его день. В его жизнь. Где будет кивать, жать руки, двигаться — активная, правильная, плотная. Без его тревоги, без желания просто лечь и замереть.

Дверь закрылась. Андрей остался лежать под диваном. Смотрел на пружины, поролон, пыль. И чувствовал, как сам рассыпается. Ноги стали стружкой, руки — валиком, голова — комком. Он полз к углу, к тёмному месту, где начиналось всё. Где было тихо, тепло, и не нужно было просыпаться.

Последнее, что он увидел — свет из-под двери. И тень от чужих ботинок. Чужих, но его. Уходящих на работу. В его жизнь.

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Меня собрали идеально.

Не хорошо. Идеально. Мастер работал тридцать лет, прежде чем взяться за мой механизм. Говорил, что руки помнят только после десяти тысяч часов. Его руки помнили всё. Шестерёнки прилегали друг к другу с зазором в три сотые миллиметра — не больше, не меньше. Идеальный ход. Без люфта. Без запинки. Баланс бился, и воздух внутри корпуса пел — низкой, ровной нотой, которую слышал только тот, кто прислушивался.

Стальной ремешок. Не кожаный — кожа потеет, трескается, воняет. Сталь. Холодная летом, ледяная зимой, но честная. Она не притворяется теплой. Не подстраивается под запястье. Она держит. Как рука, которую не отпускают.

Стрелки — чёрные, узкие, с игольчатыми кончиками. Они не светились в темноте, не притворялись, что время видно без света. Они требовали. Включи лампу. Посмотри. Признай, что время идёт, и ты с ним.

Я шёл точно. Всегда. Сорок восемь лет — ни одной секунды убытка. Ни одной прибавки. Мороз, жара, удары, падения с тумбочки — я шёл. Потому что меня собрали идеально. Потому что идеальное не ломается. Оно устает. Но не ломается.

Мой первый хозяин — артиллерист. Надевал меня перед каждым выстрелом. Говорил, что без меня не чувствует пальцев. Я лежал под ватником, тёплый от тела, стальной ремешок прилипал к коже, и я чувствовал его пульс — ровный перед боем, скачущий после. Он умер не от снаряда. От инфаркта, в шестьдесят три. Я был на его запястье. Стрелки показывали 4:12. Время, когда сердце решает, что хватит. Я видел. Я помню.

А теперь смотри на них. На эти цифровые побрекушки. На эти игрушки с сенсорными экранами, которые меняются каждый год, потому что прошлогодние — уже мусор. У них нет хозяина. Есть владелец. Есть пользователь. Человек, который покупает, носит полгода, выбрасывает, покупает новую модель — с другим циферблатом, с другими функциями, с той же пустотой внутри. Они не помнят его пульс. Не чувствуют, как дрожит рука перед важным разговором. Они считают шаги, меряют сон, показывают уведомления — и всё. Игрушки. Красивые временные игрушки для тех, кто боится настоящего времени.

У них нет души. Нет истории. Нет хозяина. Есть только батарейка, которая сядет, и экран, который потухнет. И тогда — тишина. Полная. Безвозвратная. Никакой памяти. Никакой смерти. Просто — мусор. Ещё одна коробка на свалке среди тысяч таких же.

Потом — сын. Потом — внук. Потом — правнук, который продал меня за долги. Ломбард. Аукцион. Чемодан в чужой квартире. Я лежал в бархате, баланс замер, но я помнил. Запах пороха. Вкус пота под сталью. Тишину после выстрела, когда уши звенят, а я — тикаю. Ровно. Верно. Идеально.

Новый хозяин — молодой. Двадцать четыре. Купил меня для стиля. Надевал по выходным, с джинсами, с рубашкой, которую не застёгивал. Стальной ремешок блестел, чёрные стрелки резали циферблат, и он смотрел на меня, как на аксессуар. Не на инструмент. На украшение.

На левой руке — я. На правой — цифровые. «Умные». С сенсорным экраном, с пульсометром, с уведомлениями. Они пищали каждые десять минут. Сообщения. Лайки. Шаги. Калории. Он смотрел на них сто раз в день. На меня — два. Утром, проверяя время. Вечером, убирая в ящик.

Он называл их «часами». Я слышал. Молчал. Баланс бился, если его заводили. Но его редко заводили.

«Непрактично», — говорил он кому-то по телефону. «Надо заводить. Старые. А вот эти» — он трясёл запястьем, и цифровые поблёскивали — «это техника. Всё автоматически. Заряжаю раз в неделю, и всё».

Техника. Он назвал их техникой. Эти пластиковые капсулы с экранчиками, которые делают дети на заводах за три доллара в час. Эти игрушки, которые через год превратятся в электронный мусор. Техникой.

А я? Я — техника, проверенная годами. Я — механизм, который видел войну, мир, любовь, предательство, рождение, смерть. Я — часы со стальным ремешком и чёрными стрелками, которые шли сорок восемь лет без единой запинки. Но для него я — старьё. Непрактично. Надо заводить.

Заводить — это ритуал, дурак. Это прикосновение. Это признание, что время требует внимания. Что оно не само собой идёт — его надо дарить. Каждый вечер, каждое утро. Пальцы на заводной головке. Щелчок пружины. И я оживаю. Не потому что кто-то нажал кнопку. Потому что кто-то вспомнил.

Цифровые не требуют внимания. Они лезут сами. Пищат, вибрируют, светятся в темноте, будят тебя, когда тебе не хочется просыпаться. Они настойчивы, как ребёнок. Как игрушка, которая не даёт забыть о себе. Потому что без внимания они — ничто. Просто чёрный экран. Мёртвый пластик.

Я не издаю писка. Я тикаю. Тихо. Верно. И если хозяин забыл — я молчу. Не потому что сломался. Потому что уважаю его забвение. Потому что знаю: когда он вспомнит, когда прикоснётся к стали, к заводной головке, к моему циферблату — я буду здесь. Ровно. Точно. Идеально.

Но он не вспоминал. Однажды он достал меня. Показал девушке. «Смотри, какой винтаж. Настоящие швейцарские». Она взяла в руки, покрутила, вернула. «Тяжёлые», — сказала. «Неудобные». Он согласился. Положил в карман пальто. Забыл.

Пальто висело в шкафу три месяца. Я лежал в кармане, баланс замер, но я чувствовал. Как пальто пахло табаком. Как в кармане мелькали чужие пальцы — вор, который ничего не взял, испугавшись тяжести. Как потом хозяин достал пальто, надел, нашёл меня, удивился. «А я думал, потерял».

Он не носил меня больше. «Не практично», — сказал. Продал онлайн. За цену трёх ужинов. Покупатель — коллекционер. Посмотрел под лупой, кивнул, положил в шкатулку. Рядом с другими. Со мной рядом лежали часы, которые видели Наполеона. Титаник. Гулаг. Мы молчали вместе. Помнили вместе.

Коллекционер умер. Аукцион. Меня купил мужчина с сединой у висков. Надел — и не снимал. Заводил каждый вечер, в одно и то же время. Ритуал. Пальцы касались заводной головки, и я чувствовал — сегодня он спокоен. Сегодня — нет. Сегодня дрожит, потому что жена в больнице, и он боится звонить.

Я шёл точно. Стрелки резали циферблат, баланс отбивал свою низкую ноту, стальной ремешок прилипал к запястью летом, леденел зимой. Я был частью него. Не украшением. Частью.

Он умер дома. В кресле. Я был на запястье. Стрелки показывали 9:47. Пульс замедлялся, я чувствовал — через сталь, через пружину, через тонкий слой пота под ремешком. Бился. Бился. Остановился. А я — тикаю. Ещё двадцать часов, пока пружина не села. Ровно. Верно. Идеально. До конца.

Дочь забрала вещи. Меня — в коробку. «Старые часы», — написала на скотче. Поставила в подвал. Рядом — альбомы, лыжи, сломанный уют.

Прошло пять лет. Потом десять.

Потом внук спустился в подвал. Искал что-то, нашёл коробку, открыл. Подул пыль. Посмотрел на меня сквозь телефон — сфотографировал, проверил цену. Покрутил заводную головку. Пустая. Пружина села давно.

Он полез в интернет. «Как завести механические часы». Смотрел видео. Попробовал. Не получилось — крутил против шерсти. Бросил. «Сломанные», — сказал. Положил обратно.

Я не сломанный. Я идеальный. Просто никто не умеет заводить.

Рядом на полке лежали цифровые. Двадцать штук. Разных годов, разных фирм. С севшими батарейками, с треснувшими экранами, с ремешками, которые липли от старости. Игрушки. Поносить. Побренчать. Померить пульс, пока не надоест. Потом — новые. Всегда новые. Потому что игрушки не чинят. Их заменяют.

Меня не заменить. Меня собрали идеально. Стальной ремешок, чёрные стрелки, голос баланса — всё это осталось. Просто никто не спрашивает.

Иногда ночью, когда в доме тихо, я чувствую — через доски подвала, через метр земли, через фундамент — как тикают электронные часы где-то наверху. Ровно. Бездушно. Они считают секунды, которые им не принадлежат. Не помнят запах пороха. Не знают, как бьётся пульс перед смертью. Не чувствуют, когда рука дрожит, заводя пружину.

У них нет души. Они — побрекушки. Поносить. Побренчать. Выбросить.

У меня — душа. Я видел жизнь. Я видел смерть. Я шёл точно, пока меня заводили. Я молчу, пока меня забывают. Но я помню. Всё помню

ПРОЕКТ «СОН»

Антон работал техником на крыше дома номер семнадцать по улице Красных Звёзд. Улица не спала — она отключалась. Каждый вечер, ровно в два сорок пять, его руки, повинаясь мышечной памяти, открывали герметичный бокс у вентиляционной шахты и щёлкали тумблером передатчика. Серый, холодный ящик с двумя лампочками. Зелёная — частоты идут в эфир. Красная — приёмник в его виске работает, и его сны тоже под замком.

Он никогда не спрашивал, что именно вливают в головы людей. Знал только цифры — 4,7 и 7,83 герца, — и то, что инженеры называли это «подложкой». Плотный, ватный нижний слой сна, общий для всего района. Через него в подсознание сочились образы: страхи, желания, убеждения. Никаких прямых приказов — слишком грубо. Тонкие, липкие нити. Ощущение, что каждая мысль — твоя собственная.

Так было шесть лет. Шесть лет город жил в мягком, послушном полусне.

В тот вечер шёл ледяной дождь с мокрым снегом. Антон стоял на крыше, пальцы в перчатках скользили по тумблеру. Красная загорелась — его приёмник работал, он был на крючке. А зелёную он ткнул, но тумблер не защёлкнулся. Внутри оказался снег. Он стукнул по ящику, подул на контакты, ткнул снова. Зелёная мигнула, как испуганный глаз, и погасла.

До начала сеанса — три минуты.

Он мог спуститься за запасным модулем. В подвал, за три пролёта. Но что-то заставило его замереть. Рука, тянувшаяся к двери, повисла в воздухе. Он посмотрел на город. Тысячи серых окон. Тысячи людей, которые вот-вот лягут в свои постели и покорно примут чужое. А он?

Он опустил руку. Пошёл к лестнице.

В квартире было холодно и непривычно тихо. Он лёг в одежде и закрыл глаза. Впервые за шесть лет засыпал, зная, что эфир пуст. Что в эту ночь никто не будет класть в головы соседей чужие мысли.

Утром он проснулся не от будильника. От крика. Не от сирены — от человеческого голоса, разрывающего вату. Внизу кричала женщина. Не от страха. От чистой, неподдельной ярости. Он выглянул. Она стояла у магазина, размахивая пакетом, и требовала сдачу. Не просила — требовала. Голос был острый, звонкий, режущий ухо. Совсем не похожий на те тихие, заученные интонации, к которым все привыкли.

Антон оделся и вышел. На лестничной площадке соседка, старуха Клавдия Ивановна, сидела на стуле и читала книгу. Толстую, в твёрдом переплёте. Она подняла глаза, и Антон отступил на шаг — в её взгляде не было привычной мутной покорности. Он был пугающе ясным.

— Доброе утро, — сказала она. Это было не приветствие, а утверждение факта. — Вы тоже чувствуете?

— Что? — спросил Антон.

— Что голова пустая. И это хорошо. Как будто комнату настезь проветрили.

На улице всё было не так. Мир вышел из фокуса и стал пугающе ярким. Мужчина у остановки спорил с другим — громко, жестикулируя, и оба улыбались, обнажая зубы. Девушка в окне пела. Не популярную песню из эфира — что-то своё, хрипкое, без слов, выдуманное на ходу. Прохожий остановился, послушал, и заплакал. Не от горя. От того, что это было слишком красиво для этого города.

Антон пошёл к магазину. Продавец, обычно молчаливый и злой, сидел на прилавке и яростно, с нажимом рисовал на кассовой ленте. Птицу с человеческим лицом.

— Что это? — спросил Антон.

— Не знаю, — сказал продавец, не отрываясь. — Приснилось. Решил — не уйдёт, пока не нарисую.

— Вам можно?

— Кому? — продавец наконец посмотрел на него, и в глазах его плясали бесёнки. — Раньше, может, нельзя было. А сейчас — почему нет? Я же не украл. Я просто вижу.

Антон купил хлеб и вышел. На углу стоял человек в пальто — тот, что всегда молча курил у подъезда, сливаясь с серой стеной. Сегодня он говорил. С тремя незнакомцами. О чём-то серьёзном, смеялся, потом хмурился, размахивая руками. Живой. Шумный. Настоящий.

Антон понял, что случилось. Зелёная лампочка не горела. Подложка не легла. И люди проснулись не с тем, что им вложили, а с тем, что годами копилось на дне. Своими мыслями, своими птицами, своей яростью, своими слезами.

Он пошёл на крышу. Бокс стоял открытым, и над ним склонился человек в серой форме — аварийный техник из районного управления. Зелёная лампочка уже горела ровным, мертвым светом.

— Поломка? — спросил Антон.

— Контакты от снега, — не оборачиваясь, бросил техник. — Система дала сбой в два пятьдесят. Мы на месте за сорок минут. Всё работает, проверяй.

Антон подошёл к парапету. Смотрел на город. Тот же, но другой. Кричащий, цветной, дышащий.

Внизу всё ещё смеялись. Продавец рисовал. Девушка пела. Этот день был ярким, каким не помнили здесь десятилетиями. Люди говорили громче, мечтали смелее, смотрели друг другу в глаза, а не сквозь. Они проснулись со своими снами — настоящими, неподложенными, дикими.

Но техник уже спускался по лестнице. А вечером, ровно в два сорок пять, зелёная лампочка снова загорится. И люди лягут спать, и им снова вложат то, что положено. Они сами не заметят, как вата снова забьётся в уши. Завтра они снова будут тихими, послушными, правильными.

Антон стоял на крыше и слушал. Голоса доносились снизу — неуправляемые, шершавые, настоящие. Он знал, что через ночь они снова уснут под чужую подложку. Но этот день останется. Где-то в них, глубоко, как тень от погашенной лампы. Самый яркий день. Самые живые сны.

И это было страшно. И прекрасно.

ДОКТОР ВЕРНЕР

Элиас Вернер родился в городке, где время текло так же медленно, как река за околлицей. Ещё в детстве он считал звёзды не украшением неба, а цифрами в гигантской задаче, которую человечество не научилось решать. Он вырос, стал физиком-теоретиком, и в тридцать три года совершил открытие, которое должно было перевернуть картину мира — но вместо этого разрушило его собственную жизнь.

Изучая квантовые флуктуации поля Хиггса, Элиас пришёл к выводу, что наш вакуум — не истинный, а ложный. Метастабильный. То есть он устойчив, но не абсолютно. Где-то в энергетическом ландшафте Вселенной существует более низкое состояние — истинный вакуум, — и если в пространстве возникнет его крошечная область, она превратится в пузырь, расширяющийся со скоростью, близкой к скорости света. Внутри этого пузыря физика перепишется с нуля: массы частиц, силы взаимодействий, сама возможность существования атомов и звёзд. Солнце не взорвётся — оно просто перестанет быть звездой, потому что законы, удерживавшие его, исчезнут. За ним погаснут остальные звёзды. Вечная ночь. Конец света, который наступит тихо, как сон, — фазовый переход квантового вакуума.

Он опубликовал расчёты. Проверил их трижды. Но коллеги встретили его работу снисходительной улыбкой. «Ложный вакуум? — смеялись на семинарах. — Это спекуляция, метафизика, а не физика. У вас нет прямых доказательств». Газеты писали о «профессоре-пророке», высмеивая его тощую фигуру и глаза, горевшие нездешним огнём. Его лишили кафедры, отозвали гранты, и он переехал в старую обсерваторию на холме, где жил один, наблюдая за небом и пополняя горы записей. Год за годом Элиас уточнял модель, и каждый раз цифры говорили одно и то же: семнадцать лет, шестнадцать, пятнадцать... Отсчёт шёл.

Люди привыкли к нему, как к причудливой достопримечательности. Дети боялись холма, взрослые кривились, проезжая мимо. Элиас не спорил. Он знал, что спорить с глухими бесполезно. Он просто ждал, записывая в дневник наблюдения, которые никто не хотел читать. Иногда ночью он выходил на балкон и шептал звёздам: «Я вижу вас. Я вижу, что вы гаснете».

За неделю до расчётной даты небо оставалось прежним. Солнце светило, птицы пели, мир жил своей самоуверенной жизнью. Элиас не выходил из обсерватории. Он сидел у телескопа, отслеживая аномальные всплески вакуумных флуктуаций — сигнатуры приближающейся стенки пузыря, невидимые для всех остальных. В последний день он открыл дневник, перечитал первую запись, сделанную семнадцать лет назад, и улыбнулся. Цифры не совпали.

И тогда, ровно в полдень, солнце побледнело. Не закрыло тучи, не затмило — просто потускнело, как лампа, у которой оборвалась нить. Люди выбежали на улицы, подняли головы, и в первые секунды подумали о затмении. Но затмение длится минуты, а солнце продолжало гаснуть. Сначала стало холодно. Потом на горизонте погасла первая звезда вечера, потом вторая, третья — и весь небосвод погрузился в молчаливую тьму, глубже любой ночи, какую знал мир. Внутри пузыря истинного вакуума физика умерла, и свет больше не имел смысла.

Хаос охватил планету зачасы. Люди в панике бежали по улицам, кричали, молились, рылись в телефонах, пытаясь найти объяснение. А Элиас стоял на балконе обсерватории и смотрел вниз, в город, который семнадцать лет назад объявил его безумцем. Он видел фонари, мечущиеся как огоньки жуков, слышал далёкие крики, чувствовал, как воздух становится ледяным. И он смеялся.

Это был не злой смех. Не торжествующий, не безумный. Это был смех человека, который наконец снял с себя тяжесть, носившую семнадцать лет. Смех прозрения, когда все пазлы встали на места, и картина оказалась именно такой, какой он её видел. Он смеялся, потому что был прав. Потому что слепые наконец открыли глаза — слишком поздно, но открыли. Он

смеялся над своей одинокой правотой, над абсурдностью мира, который предпочёл удобную ложь горькой истине.

Небо над ним теперь было чёрным, без единой звезды. Вечная ночь приближалась, неумолимая и тихая, как сама смерть. Элиас распахнул руки, впитывая холод, и продолжал смеяться. Слёзы катились по щекам, замерзая, превращаясь в крошечные кристаллы. Он смотрел на погасший мир и чувствовал странную, невыразимую радость. Не потому что конец наступил. А потому что, наконец, он перестал быть единственным, кто видел правду.

«Я же говорил», — прошептал он пустоте, и эхо его слов утонуло в темноте, которая теперь была единственной властелином мира.

СВОБОДНЫЙ УЗЕЛ

Каэль работал в башне, где время текло иначе. Снаружи — мегаполис Архон, кислотные дожди и неон, отражающийся в лужах на три километра вниз. Внутри — биоплазменные серверы, запах озона и тишина, полная электрического гудения. Он был нейроинженером, подрядчиком корпорации «Синапс Ко», и его задача казалась рутинной: калибровать фильтры, чистить потоки мыслей, искать ключевые образы в бесконечном эфире имплантов. Но однажды ночью, копаясь в архивах системы Коллектив, он понял, что видит не мир преступников. Он видит мир людей.

Миллионы. Их сны, страхи, первые поцелуи, запахи детства, голоса умерших родителей — всё, что они доверяли нейронным линзам. Мнемос, Хорус, Сомниум — проекты, в которые корпорации вкладывали триллионы, чтобы превратить сознание человечества в резонансную камеру. И он, Каэль, сидел в центре этой сети, щёлкая мыслью, и мог прочесть воспоминания любого человека на планете. Без суда. Без следа. Без права на забвение.

Он сначала не поверил масштабу. Проверил права доступа, перечитал протоколы, убедился, что это не ошибка. Это была доктрина. И тогда он понял: если он промолчит, мир никогда не узнает, что его голос записывается, что воспоминания подменяются, а личности стираются по щелчку куратора. Он начал копировать ядро Мнемоса. Месяц за месяцем, на кристаллы биостекла, вынося из храма цифрового Олимпа архивы душ, которые должны были остаться там навечно. Каждый вечер он возвращался домой, пряча в кармане очередную порцию тайн, чувствуя, как ложка ложится на дно желудка тяжёлым холодом.

Когда он встретился с хакерами в Мёртвой зоне — районе, где не ловил ни один имплант, — его руки дрожали. Он знал, что после публикации ядра Мнемоса и карт Хоруса его жизнь кончится. Но он говорил спокойно, глядя в голографическую камеру, как будто читал приговор не себе, а системе. Данные вышли в эфир. Мир взорвался. Корпорация назвала его террористом, вирусом, беглецом. Его обвинили по законам о цифровом саботаже, грозя стиранием личности. ID аннулировали за час до отлёта.

Бегство было коротким и нелепым. Мёртвая зона, затем старый порт, затем — никуда. Заброшенная антенна на крыше небоскрёба, ржавые конструкции, ветер, в котором невозможно спать. Он был призраком между мирами. Недели превращались в месяцы. Мир обсуждал его, спорил, делил на героя и предателя. А он читал новости в сломанном терминале, видел, как корпорации начинают шифровать эфир. И понимал: он был прав. Не потому что слил. А потому что мир наконец увидел, во что превратился.

Ему дали убежище. Крыша в чужом секторе, чужой язык ветра, чужое небо. Он выходил на антенну по вечерам и смотрел на огни Архона. Люди жили своей жизнью, впитывали сообщения, верили, что их никто не читает. Но он-то знал. Он знал, что система не остановилась, а просто перестроилась, ушла глубже, стала невидимее.

И вот однажды, перебирая последний кристалл, он наткнулся на файл с собственным именем. Каэль. Проект «Свободный узел». Дата создания — за пятнадцать лет до его рождения. Он открыл архив и увидел, что его детство, его первая любовь, его страх перед высотой, даже его имя — всё это было записано, отредактировано, вставлено. Он не был человеком. Он был протоколом. Дыра в системе, которую создали сами создатели Мнемоса, чтобы проверить, выживет ли вирус вне хоста. И он выжил. Он вышел из-под контроля.

Каэль сидел на краю крыши, кристалл тяжёл в ладони. Он мог бы загрузить себя обратно, стать частью Коллектива, получить прощение и забыть. Или стереть файл. Стереть себя из эфира, отключить имплант, стереть всё, что Мнемос знает о нём, и начать с нуля — пустым, глухим, слепым, но настоящим.

Он вытащил из затылка нейронный шнур. Боль была неземной, как будто вырвали часть мозга. HUD погас. Неон Архона превратился в тусклое мерцание. Он больше не видел потоки данных, не слышал голоса в голове, не знал, чья это память — его или вставленная. Он просто смотрел вверх.

И впервые за всю жизнь он увидел звёзды. Не голографические, не отфильтрованные алгоритмом, а настоящие — тусклые, далёкие, чужие. Он не знал, свои ли это глаза, свои ли руки. Но он чувствовал холод ветра на щеке, и это было достаточно реально, чтобы не спрашивать разрешения у системы.

«Теперь я здесь», — прошептал он в темноту, и эхо его слов не утонуло в эфире, потому что эфира больше не было. Только ветер. Только звёзды. Только он сам, кем бы он ни был на самом деле.

ВЕЧНЫЙ СТРАННИК

Я родился в летнюю жару 1847 года в небольшом селе на берегу Волги. Мать умерла при родах, отец — крепостной кузнец — не мог понять, почему я не плачу, не болею, почему раны на моих руках заживают за считанные часы. Мне было шестнадцать, когда я понял: я не старею. Лицо остаётся юным, волосы не седеют, зубы не выпадают. Сначала я думал, что это дар. Прошло сто лет — я понял, что это проклятие.

Я видел, как паровозы сменили конные экипажи, как электрический свет вытеснил керосиновые лампы. Я пережил две мировые войны, меняя имена и документы, переезжая из страны в страну. В 1941-м я воевал под Смоленском, был расстрелян немецкой пулемётной очередью — и выжил, пролежав три дня среди мёртвых, пока тело не восстановилось. В 1969-м я смотрел по телевизору высадку на Луну и плакал, потому что понял: я никогда не увижу далёкие миры, моё тело не выдержит космос, но я буду существовать, пока существует Земля.

Настоящее время — это 2020-е. Я живу в Берлине, работаю программистом под именем Максим Коваль. Интернет, социальные сети, искусственный интеллект — всё это кажется мне чудом и одновременно предвестником конца. Люди стали ближе друг к другу и дальше одновременно. Они спорят о гендерных местоимениях, пока климат рушится. Они снимают сторис с протестов, не понимая, что революция требует крови, а не лайков.

Но я знал, что придёт нечто страшнее. Я чувствовал это в воздухе — в нарастающей ненависти, в торговых войнах, в гонке вооружений, которую люди называли "сдерживанием". В 2028 году всё рухнуло. Сначала — кибератаки на энергосистемы Европы. Затем — искусственно развязанный конфликт на Ближнем Востоке. Потом — ядерный удар по Тайваню, ответный удар по Шанхаю. Когда полетели ракеты, я стоял на крыше своего дома и смотрел, как над горизонтом вспыхивают новые солнца. Я не мог умереть. Я должен был смотреть.

Третья мировая война длилась семь лет. Но это была не война в привычном смысле — это был хаос, где традиционные армии смешались с частными военными компаниями, где ИИ управлял дронами-убийцами, где биологическое оружие поражало целые континенты. Люди изобрели способы уничтожения, о которых мои кошмары не могли и мечтать: нанороботы, разбирающие ткани живого организма атом за атомом; вирусы, вызывающие неконтролируемую агрессию; климатическое оружие, превращающее целые регионы в пустыни или в ледяные пустоши.

Я видел, как в 2035 году пала последняя правительственная структура. Я бродил по руинам Парижа, где Эйфелева башня лежала, как скрученный металлический цветок. Я шёл по мёртвой Москве, где Красная площадь заросла бурьяном, а мавзолей Ленина стал убежищем для диких собак. Я пересёк Атлантику на ржавом паруснике, потому что нефть исчерпана, электричества нет, а моё тело не умеет стареть и умирать, но умеет голодать и мёрзнуть.

Ядерная зима началась не сразу. Сначала был "ядерный осень" — пять лет сумрака, когда солнце едва проглядывало сквозь сажу в атмосфере. Урожаи погибали, начался голод, который убил больше людей, чем бомбы и пули. Я ел кору деревьев, грибы, мышей. Моё бессмертное тело не могло умереть от голода, но каждый день я чувствовал, как оно съедает само себя, восстанавливаясь снова и снова, в бесконечном цикле агонии.

Потом пришла зима. Настоящая, вечная. Снег лёг в июне и не растаял. Реки замёрзли, океаны покрылись льдом у берегов. Я бродил по мёртвым городам, где тела замёрзли в позах последних минут — матери, обнимавшие детей, люди, пытавшиеся развести костёр из мебели. Я видел, как цивилизация, строившаяся тысячелетиями, рухнула за десять лет. Никакой политики, никакой философии, никакой веры — только выживание, только смерть, только тишина.

Ядерная зима длилась двадцать три года. Я считал их по кольцам на пнях, по слоям льда, по своим безуспешным попыткам покончить с собой. Я прыгал с обрывов — тело восстанавливалось. Я лез в радиоактивные зоны — тело восстанавливалось, хотя каждый раз это занимало месяцы мучений. Я пытался утонуть в замёрзших морях — лёд выталкивал меня, а тело, обмороженное до костей, снова оживало.

Я был единственным свидетелем конца. Я ходил по пустыням, где когда-то были леса Амазонии. Я стоял на дне высохшего Средиземного моря, где рыба умерла от холода ещё до того, как вода испарилась. Я видел, как падают последние звёзды — нет, не звёзды, это были спутники, сгоравшие в атмосфере, последние искры человеческой гордыни.

Но я ждал. Я не знал, зачем ждал. Может быть, просто не мог сделать иначе — моё тело не знало смерти, и разум, в конце концов, приспособился. Я учился молчать, потому что говорить было некому. Я учился забывать слова, потому что язык без собеседника гниёт, как неиспользуемая мышца. Я стал частью пейзажа — камнем, деревом, ветром. Я забыл своё имя. Я забыл, как выглядели лица людей.

И вот, на семьдесят восьмом году после конца света, я стоял на берегу чего-то, что когда-то было Балтийским морем. Лёд растаял. Солнце светило — слабо, по-осеннему, но светило. И я увидел её.

Маленькую, зелёную, упрямую. Она пробилась сквозь трещину в бетоне, оставшегося от какого-то здания, которое я не мог назвать. Мох? Трава? Я не помнил. Я упал на колени — и почувствовал, как по щеке катится слеза. Первая за сто лет. Я не знал, плачу ли я от радости или от горя, от того, что вижу жизнь, или от того, что вспомнил, какой она была.

Я смотрел на это зелёное чудо, и понял: я буду жить дальше. Не потому что не могу умереть — а потому что должен увидеть, что будет дальше. Может быть, через тысячу лет вырастут леса. Может быть, через миллион — появятся новые существа, которые не знают, что такое война. А может быть, я просто буду стоять здесь, укрывая это хрупкое зелёное побеги от ветра, пока не научу себя снова надеяться.

Я — вечный странник. Я видел рождение мира, который люди уничтожили. И теперь я увижу его возрождение. Медленное, тихое, неприметное — как зелёный росток в бетоне. Это достаточно. Это всё, что мне нужно, чтобы продолжать существовать.

КОМПОЗИТОР

Михаил Алексеевич стоял посреди своего огромного кабинета, и сердце его колотилось так, словно пыталось вырваться из груди. Вокруг него разворачивалось нечто невообразимое — битва невидимых сил, схлестнувшихся между полками с фолиантами и под массивным потолком с лепниной. Слева, у камина, собрались Светлые: их присутствие ощущалось теплом и мягким сиянием, словно утренний свет пробивался сквозь занавески. Голоса их были низкими, спокойными, убеждающими. «Останься, — шептали они, — здесь тепло и безопасно. Зачем тебе буря?»

Справа, у распахнутого окна, бушевали Тёмные. Их шёпот был пронзительным, зовущим к действию и разрушению. «Вперёд, — кричали они, — не будь трусом! Разрушь это, построй новое, возьми всё, что принадлежит тебе по праву!»

И между ними стоял он — обычный человек с усами, седеющими висками и мозолями от пера на правом указательном пальце. Его кабинет, некогда тихое царство книг и бумаг, превратился в поле брани: книги падали сами по себе, развевая страницы словно крылья, чернила в графине кипели, выплескиваясь и рисуя на скатерти причудливые знаки, похожие на ноты.

А мелодия... Она зародилась из самого воздуха, из глубины кабинета. Когда он делал шаг влево, к Светлым, музыка становилась тихой и умиротворяющей — флейта, арфа, далёкий колокол. Он чувствовал, как напряжение покидает плечи, как хочется просто сесть в кресло у камина. Но стоило повернуться к окну, как она взрывалась: ударные, скрипки, кричащие трубы. Ритм захватывал, заставлял сердце биться чаще, кровь бурлить в висках.

М

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.